

Вольный стиль

Роман Осминкин

Переделкино, или Передел к иному

12 августа 2021 г.

Переделкино. Пишущее тело должно пить, есть, спать, немножечко страдать... и, конечно же, писать, зря, что ли, его сюда позвали. Впрочем, конечно, зря, ибо пишущее тело хоть и пишет, но, как мы знаем из истории литературы, от которой поначалу воздух тут кажется спертым, несмотря на сосновый биоценоз, пишет оно почти всегда не то, чего от него ждут условные заказчики, и не так, как хотелось бы условным читателям. Но именно это «не то» и «не так» (в случае попадания пишущего тела в историю литературы) оказывается самым интересным для потомков, уже приноровившихся изучать литературу как «всё, что человек говорит или пишет, всё, что он изготавливает, всё, к чему он прикасается» (Марк Блок). Вот мы с моей соавторкой по жизни и письму — Анастасией Вепревой — с задержкой в три дня — все-таки добрались до дома отдыха «Переделкино», хотя могли бы вообще не добраться в связи с попаданием Насти в больницу, но Боженька миловал. Приехали ночью. После Питера — с непривычки кажется, что тут темень жуткая, насилу нашли дом отдыха, калитка открыта, чуть заспанный, с гладковыбритым лицом и черепом консьерж, представившийся Артуром, выдал нам ключ. Заселились и грохнулись спать без задних ног — расплата за прямохождение.

13 августа

Утро пятницы первого дня в Переделкине. Да-да, оно — Переделкино — в отличие от Купчино или Обухово, склоняется. И это первый языковой челлендж, который, впрочем, позволяет всегда держать этот обросший мифами топоним на доступной для реактуализации в нужный момент периферии внимания. Новый корпус дома отдыха — краснокирпичный советский модернизм 1970-х. Внутри все номера стилизованы под 1930-е, чтобы жизнь медом не казалась

(зачеркнуто), чтобы «золотая клетка»¹ напоминала о себе особо чувствительным к свободе, а вернее, к телесно-эмоциональному моменту смыслообразования, поэтам. Современная поэзия, да и письмо вообще сегодня начинают восприниматься как эмоциональный труд, эмпатия, соучастие, совместная проработка нежелательных аффектов, вытесненных желаний и травм, то самое пресловутое, но сложнореализуемое травмоговoreние. Поэтому, когда на ресепшене девушка-консьержка и охранник буднично доброжелательны, я понимаю, что они снабжены тем типом эмоций, который постопераисты обозвали аффективным трудом, а Джуди Вайсман во «Времени в обрез» связала с индустриализацией эмоционального труда и коммодификацией чувств при ускорившемся до предела цифровом капитализме.

Потом мы поймем, что так здесь устроено все. Нейтральная доброжелательность персонала и официантов кафе, неброская дороговизна, хочется добавить «скромное обаяние буржуазии», но здесь это так не работает. Сегодня мы априори пребываем внутри капиталистического отчуждения, поэтому оно уже давно не лакмусовая бумажка наших ощущений, отпечатывающая реальность, оно предформатировано так, чтобы ты сразу с ним смирился и более его не замечал. В том числе чтобы ты не замечал чужого труда, как когда-то Горький и иже с ним должны были не замечать ГУЛАГи, Комблаг и страну как трудовой пыточный лагерь. Ты начинаешь прохаживаться с руками за спиной, да-да, именно руки за спиной хочется держать буквально на второй час пребывания в санатории (вот где социальная хореография интеллигентского тела — балет писательского изнеженного тела?). Прохаживаясь, ты начинаешь соотноситься с другим — до той поры незнакомым тебе биоритмом, постепенно входя с ним в унисон, разглядываешь висящие на деревьях парка Дома писателей полые корпуса старых часов, развешанные по стенкам в качестве кормушек (выставка, посвященная поэту А. Парщикovu). Какая милая рефункционализация, птички внутри часов, поющие про наше времечко. Именно тело и время — вот с чем вам предстоит соотнестись и перестроить прежде всего при въезде в Дом писателей Перedelкино.

14 августа

Меня будит шум индустриальных звуков, сверл, молотков, пил и прочих инструментов физического труда, напоминая о себе невидимым трудом, вернее, стремящимся быть невидимым. Как те самые рабочие в светло-зеленых с оранжевым отливом робах, разбросанные по всей территории дома отдыха и в полускрюченных позах налаживающие, починяющие, ремонтирующие, подстраивающие окружающую повседневность, приводя ее в одомашненный, современный, комфортный санаторный вид. А тут стоишь ты со своим так называемым нематериальным дискурсивным трудом, хочется добавить: никому не нужным и никем не заказанным. Но ты давно смирился с тем, что современное пишущее тело разорвано неразрешимым противоречием: будучи

1 См.: Золотая клетка: Перedelкино в 1930—50-е годы. Курс лекций: <https://arzamas.academy/courses/89>.

антрепренером самого себя, оно ищет, куда приткнуться свои навыки и умения, а с другой — эксплуатирует другие тела, поставщиков сырого контента, носителей опыта, которых оно может наделить речью, дать зримость, так сказать олитературить. В этом отличие современного писателя от среднего сталинского писателя-сикофанта — лояльного писателя 30-х годов, получавшего сюда путевку и должного отплатить советской власти соцреализмом по способностям, желательно выше средних, но тут уж как получится.

После стресса, связанного с вырыванием вашей тушки из привычного мира в санаторное бытие выставленности, вы можете наконец оглядеться. Вот старый — начатый еще до постановления о борьбе с архитектурными излишествами — корпус Дома писателей. Про него потом будет наслушано много историй, а эпитет Арсения Тарковского «мои пеналы» — станет местным мемом. Пеналы — это комнаты в форме спичечных коробков, которые выдавались членам Союза писателей и их семьям для проживания и отдыха. Внутри раковина, две кровати, письменный стол и стул, остальные удобства — туалет и душ — на этаже. Но, как принято говорить, в те суровые для нашей страны годы писатели были несказанно рады и этим условиям. Хочется добавить: не то что их нынешние, зажавшиеся, неблагодарные, да еще и куда более эстетически мелкотравчатые потомки. Рядом со старым корпусом пристроен стеклянный павильон клуба в стиле модернистских построек 60-х: легкий, воздушный, внутри зал для публичных мероприятий, библиотека, кафетерий и бильярдный стол, за которым заядлый бильярдист Высоцкий обыгрывал «теплую» тусовку шестидесятников. В парке стоит деревянная литературная беседка в стиле бельведер, ее ремонтируют рабочие, распевно общаясь на незнакомом языке. Вот Лилин пруд, последние годы жизни Лиля Брик провела в Переделкине и покончила тут с собой в 1978 году, отравившись после перелома шейки бедра. Вокруг пруда расставлены раскладные шезлонги, на которых сидят приятные молодые люди андрогинной внешности. Брик, окружавшей себя многочисленными гомоэротичными поклонниками, они бы понравились.

15 августа

Мы с Настей завтракаем более уверенно, чем в первые дни: каша, сырники, хлеб с маслом, сыр, сок, кофе, десерт, трудно остановиться. С нами никто не коммуницирует, я грешу на то, что мы выглядим конвенциональной гетеросексуальной парой, замкнутой в своей двойце, слипшейся в единицу, тогда как по философу Алену Бадью единица должна расколоться надвое и любовь должна впустить в себя политику. Ничего не остается, как смотреть в окно. Играет музыка в стиле лаунж, за окном опрятные рабочие роют канавы. Сплошное остекление создает эффект реалити-шоу. Мы смотрим на них, они не смотрят на нас. Говорю Насте про свое ощущение полной дереализации, так как нет ничего более нереального, чем реалити-шоу. Как вдохнуть во все это ощущение жизни? Или дом отдыха для одних — это всегда дом труда для других? Социальная ролевая игра.

Возникает вялая дискуссия с Настей, легальные ли эти рабочие или наняты скопом по аутсорсингу. Я рассказываю про норвежских и финских рабочих, полностью защищенных профсоюзами и с большими зарплатами. Настя

рассказывает, как европейские леваки решили защищать права работников одного из российских музеев, а работники мало того, что оказались официально трудоустроенными, так еще и с российским гражданством. Я говорю о том, как моя совесть еще вчера по-интеллигентски немножко поотравляла мне день, невротизируя меня. Но сегодня мне вполне о'кей — я ведь сам не русский интеллигент, так называемый предатель своего класса буржуазии и дворянства, разночинец, вынужденный всю жизнь терзаться муками совести за темный народ, пытаться освободить этот народ, обучать его, ходить в народ. Когда же этот народ его недопонимал, а то и пуще — сдавал как заговорщика, то интеллигенту ничего не оставалось, как обращаться к террору и строить партию из таких же, как он, сознательных новых людей. Моя мама (украинская крестьянка) и отец (ярославский пролетарий) произошли из низов советского общества. Благодаря работающим со скрипом социальным лифтам они стали врачом и прорабом. Советская и постсоветская власть дала маме комнату в коммуналке и работу в Военно-морском госпитале, а отца отправила в стройбат, стройтрест, стройкооператив и несколько раз сажала в тюрьму. Поэтому все мои пресловутые привилегии — это белое мужское (что уже немало — ведь мальчику в СССР полагалась отдельная комната!) и с какой-то поры цисгендерное (меланхолично тревожное) тело, говорящее тело, самостоятельно вбросившее себя в режим мягкой, а иногда не очень прекарности. Имя моему сегодняшнему режиму не угрызение мук совести, а тревога. Но тревога эта глубже и неразрешимей, чем тревога от нарастающего классового разделения и социального неравенства. Это тревога от полной неизвестности, не беспокойство, что же будет с родиной и с нами, а бесприемная, беспросветная, депрессивная, экзистенциальная тревога от безбудущности, грозящая сама, в свою очередь, трансформироваться и перейти в наслаждение собственной депрессией — в депрессивный гедонизм.

Вчера ночью я даже написал про это стихотворение, но то ли оно оказалось слишком герметичным, то ли алгоритмы фейсбука спрятали его в пучине конвейерной ленты социальной сети, но оно не вызвало отклика. Я даже порывался удалить его, но осекся, так как сказал себе: Ромочка, не заради быстрых дофаминов ты написал сие стихотворение, а для самотерапии. На том и успокоился и даже больше не следил за лайками. Но стихотворение зажило своей отдельной жизнью, больше не жалающей, не ранищей меня. Не для этого ли и создано письмо, чтобы отделить от себя частичку себя и предоставить ей автономию внетелесного материального существования? Тогда ваша боль больше не ваша, она не принадлежит вам, она даже не укладывается в дискурс травмы и страдания, требующий пусть и негативной, но все еще артикуляции, в этимологическом первоначале означающая членение, то есть отделение членораздельной речи от животного гула шума рева. Если ваша боль больше не принадлежит вам, а отстоит от вас как вещь среди вещей, тогда собственно весь нарциссизм пишущего тела состоит в том, чтобы прежде всего самому получше разобраться, объектом каких аффектов и желаний оно является — самообъективироваться до вещи, доступ к которой никогда не исчерпывается вашими перцептивными возможностями восприятия.

16 августа

Приоткрытие выставки «Условия материальной независимости»² под кураторством литературного критика Анны Наринской в старом Доме писателей. В описании выставки глаз цепляется, конечно же, снова за быт и эрос: «Писательский поселок оказался (вернее, казался) как бы независимым от советской материи и — в то же время — катализирующим ее. Тайная свобода и даже фрондерство жителей дач и Дома творчества сосуществовали с жизнью “под колпаком”, которую предполагало такое совместное, удобное для соглядатая проживание. Любовная и даже сексуальная свобода, всегда возникающая в месте скученной жизни творческих людей, соседствовала с уайеризмом и сплетнями». В разговорах окружающих раз за разом всплывает тема переделькинской фронды, дескать писатели, получив от власти наделы для жизни, не просто были интерпеллированы как советские писатели — воспеватели достижений по построению коммунизма, но и как обособившиеся фрондеры, носители мелкобуржуазных, развращающих девственного советского человека ценностей. Вспоминаются теории субъекта Фуко и субъекции Дж. Батлер про схватывание власти в ее двойной валентности — субординирования и производства. Советский писатель возникал как субъект, подчиняясь регламентирующим предписаниям и встраиваясь во все субординирующие институты — союзы и литфонды. Но это подчинение и встраивание тут же производили своим побочным эффектом писателя как привилегированного носителя авторского языка, определенного идиостиля, не укладывающегося в прокрустово ложе идеологии.

Гляжу на фотопортреты в коридоре старого Дома писателей: в основном мужчины, в основном немолодые, с пыльными нездоровыми лицами, в пыльных безразмерных костюмах или военных кителях. Жизнь была тяжелая, а ведь они все тут ютились, курили под лестницей, играли в шахматы и бильярд и писали, писали, писали... Пишущие, рыхлые мужские тела. Советский универсальный пол, никак не осмыслявший себя, принимавший себя как данность и не вопрошавший о своем теле, но в лучших традициях русской классики описывающий природу (про Пастернака говорили, что он выпил переделькинский пейзаж до дна). Думаю, о том, как это место перепредставлено в литературе и культуре, переунавожено костями мертвых белых мужчин разной степени таланту, ушедших на перегной, удобривших или отравивших собой почву. Не будет ли любое письмо о Переделкине мертворожденным, так как оно заранее произрастает не из социального шума, многоголосицы и гула живой речи своего времени, а вынуждено нести на себе весь этот символический груз чужих, уже давно потухших, угасших зарядов и импульсов. Такое письмо, казалось бы, может быть только литературоведческим, текстологиче-

2 «В ходе исследования в подвалах Дома творчества был найден фотоархив писателя и журналиста Павла Лукницкого — несколько тысяч негативов, сделанных им с 1966 по 1971 год, в том числе в Переделкине. Эта случайная находка натолкнула команду проекта на мысль показать исследовательский процесс и сделать превью основного проекта. Название выставки почти точная цитата из письма Максима Горького. В нем он описывает Константину Федину проект совместного проживания писателей в “условиях полнейшей материальной независимости”. Именно это должно подтолкнуть их к написанию книг, которые отвечали бы “солидности запросов времени”» (<https://pro-peredelkino.org/exhibition-umn>).

ским, однако, и оно — в свою очередь — может стать основанием живого опыта, ибо даже погружаясь в мертвые знаки ушедших эпох мы оживляем их своим дыханием, воображением, движением глаз по строчкам и моторными усилиями пишущей руки.

Да и про руки, кстати: на фуршете в честь приоткрытия выставки ухватили с Настей канапе и бутербродики с креветками и еще какой-то вкуснотенью. Вспомнили, что такое фуршетный диспозитив, это когда все неуклюже тыкаются, извиняются, толкаются, кучкуются, жмутся по стенкам, уплетая одной рукой канапе, другой запивая шампанским, жуя и одновременно болтая, обнимаясь и разыгрывая богему, кто как умеет.

17 августа

Проснулся, солнышко светит, вышел на лоджию, подставил личико, греет, такое утреннее, такое полезное. Вдалеке лают собаки, над головой пролетают где-то на высоте пять тысяч метров самолеты, будто рев дикого животного, доносится гул электрички... А вот два сторбленных тела несут носилки с камнями. Тела пыльные, как и камни. Тела вываливают камни в углу газона и бредут обратно не разгибаясь. Ах, а вот солнышко светит, так приятно щекочет мое сонное еще личико сорокалетнего мужичка с неопределенной шкалой маскулинности. А раньше я думал: и как это русские дворяне или римские патриции могли не замечать рабский труд за их спиной и воспринимали его как само собой разумеющийся. А вот как-то так. Фить — и все. Три дня в доме отдыха «Переделкино» — и любой чужой труд натурализуется, а тела рабочих, официантов, уборщиц становятся такими естественными, что ты даже умиляешься. Звуки молотков, лобзиков и дрелей сливаются со звуками природы, и разбросанные по территории парка рабочие становятся элементами ландшафта, почти смугленькими пейзажами, поливающими газончики, починяющими литературную беседку или подключающими фазы у проводов согнувшись в три погибели под фонарем.

А тут еще утренняя лекция номер два про Переделкино времен 30—50-х, где Корней Чуковский подрезает малину и клубнику, Пастернак выращивает картошку и жарит ее в собственном доме-музее! А Афанасьев так вообще строит теплицу собственными руками и с удовольствием описывает, как собирает урожай. Это же своего рода преодоление не только ручного и умственного труда, но и природокультурного разделения! Местные рабочие вовсе не рабы из Гольяново. (Помните, такой кейс из такого теперь далекого 2012 года, когда активисты освободили двенадцать человек, которых держали в рабстве в продуктовом магазине в Гольяново, мужчин и женщин из Узбекистана и Таджикистана заставляли бесплатно работать, били и принуждали к сексу? Не помните? Ну и ладно.) Люди по собственной воле приехали в Россию, по своей воле устроились работать разнорабочими, по своей воле носят носилки со щебенкой, по своей воле они сейчас развалились на изумрудных газонах и показывают друг другу на смартфонах музыкальные клипы со среднеазиатским поп-ом. И никакая это не социальная меланхолия от молчаливого непризнания, о которой писала мать Тереза всех киров Джудит Батлер. Видеть в каждом пикселе нищету, безнадегу, ложь и принуждение — это медленное, разъедающее психику и тело, заранее обреченное на поражение дело. Конец.

18 августа

Ваня Соколов нашел цитату из писем М. Горького И. Гронскому от 23 февраля 1933 года: «Если две, три сотни работников литературы поселить на одной улице, то при наличии хорошо воспитанной прошлым способности обращать внимание прежде всего на пороки, недостатки, ошибки, глупость и пошлость ближних, — литераторы, может быть, отлично будут знать друг друга, но весьма сомневаюсь, чтоб <их> литература выиграла от этого».

Я подумал, что под прошлым Горький здесь имеет в виду дореволюционный критический реализм, изобличавший пороки «загнивающего капитализма», но ставший бесполезным для литературы социалистического реализма, в которой в основу художественно-конструктивного принципа, наоборот, должны были лечь жизненные идеалы и борьба за них.

Елена Костылева написала, что ей кажется наоборот — это «имплицитная критика модернизма с общеморализаторских интеллигентских позиций (в сущности религиозных)».

Ваня Соколов уточняет, что эта цитата была интересна ему за проскочившую в ней «обаятельную ниточку человеконенавистничества: если две-три сотни людей поселить вместе, то при наличии тренированного любопытства и внимания к гадству ближнего сомневаюсь, что искусство, которое мы получим на выходе, будет сколь-нибудь найсбóвым (что, впрочем, не значит, что оно не предложит специфического наслаждения некоторым типам читателей)».

Я снова встречаю, приводя фрагмент из того же письма Горького, где тот критикует религиозный подход к литературе как обособленному роду деятельности, возражая против создания городка писателей, который сразу превратится в деревню склочников-индивидуалистов, но ратует за создание писательских санаториев для отдыха, интерпретируя их, впрочем, довольно своеобразно:

Нет, я против отсеивания литераторов в сторону от жизни, против возможности искусственного создания «касты». Это преждевременная затея. Для того чтобы она хорошо удалась и принесла социально полезные плоды — нужно подождать до поры, когда явится иной «живой материал». Кстати, о материале: материал литератора передвигается в пространстве, во времени, за ним нужно ходить, следить, и в этом отношении работа литератора беспокойней работы ученого.

Я с восторгом бы приветствовал построение города химиков и физиков, биологов и геологов. Деятели науки — вот кто нуждается в тесном единении... Кроме этих и других трудностей единения, есть еще одна, может быть — главная: недостаточно ясное представление о единстве цели всех научных дисциплин. Эта трудность исчезла бы при наличии тесного сплочения ученых в одном городе.

Для литераторов оседлость, вращение в месте, едва ли нужно и — я уверен — вредно, потому что ограничивает поле наблюдений. Необходимы для них дома отдыха, разбросанные по всей стране, в которых они могли бы два месяца в году отдыхать от суеты и впечатлений городской жизни, от «обязанностей» семейной жизни, да и семьям своим дать отдых. Гениальный человек в кругу своей семьи — это очень тяжело для нее...³

3 Встречи писателей с членами Политбюро в доме Горького // https://perpetrator2004.ucoz.ru/Stalin_Meets_Writers.htm.

Забавный момент: выступая против создания писательских трудовых гетто, Горький с восторгом приветствует городки для ученых, что, конечно, звучит идеалистично, но это просто еще социологии науки и Дэвида Блура не появилось.

Ваня Соколов добавляет: «Естественно, всё так и есть — я не про то, как “на самом деле” было (замечу, впрочем, в скобках, что М.Г., кажется, сам не замечает занятого натяжения между не нравящейся ему деревней индивидуалистов и провозглашаемой необходимостью выкорчевать и разбросать литераторов по стране во избежание единения. Понятно, что он бы объяснил это через издержки профессии, но что-то есть в самом этом беспокойстве насчет правильного и неправильного типа распада, что мне нравится)».

19 августа

В нашем номере есть книжная полка. На ней всего несколько книг, из которых нам сразу приглянулся сборник «Звезда Соломона» из серии «Русская мистика» с рассказами Н. Гоголя, И. Куприна, Л. Андреева, В. Одоевского, готической повестью «Упырь» А.К. Толстого и др. Настя запоем прочитала почти весь сразу. Я читал урывками, классическая русская мистика XIX века, хотя и является подчас перелицовкой немецкого романтизма и Гофмана, хорошо ложится в сегодняшний тренд темной экологии и увлечения лавкрафтианством через голову Ника Лэнда. Если романтики восставали против просвещенческого утилитаризма и сведения природы к субстанции, которую можно одомашнить и превратить в простой ресурс капиталистического прогресса, то современная постметафизика тоже восстает против секулярности и доминирования естественных и нейронаук, снова заколдовывая, делая непознаваемой, и лишая полного доступа к ней человека. Человек внутри темной экологии лишь краткий период антропоцена внутри большой геологической истории Земли и должен знать свое место. Например, главный герой повести Куприна «Звезда Соломона» мелкий чиновник Иван Степанович Цвет случайно обретает сверхчеловеческие способности «вживаться» в других людей и разгадывать их мысли. Однако это не дарует ему ни покоя, ни любви, ни счастья. В итоге Цвет отказывается от них, чтобы снова стать обычным человеком.

Ближе к полудню наваливается тревога: о чем писать в таком вычищенном пространстве, где все расписано и приложено под тебя, где все проблемы житейского быта из другой — *запределкинской* (эту опечатку я решил оставить) — жизни должны быть вынесены на маргиналии сознания и на периферию чувств? Эту тревогу я называю страхом каракулевого овцеводства имени Виктора Шкловского, который предостерегал молодых писателей от делания писательской карьеры без обретения других профессий и жизненного опыта. Сразу заселиться в Дом писателей и стать профессиональным писателем на полном пансионе — это утопия, грозящая провалом в дистопию. Что может быть выходом? Быть может, разработанное тем же Шкловским понятие острашения? Тогда, заселившись в Переделкино, нужно принять всю странность этого опыта искусственного погружения в «условия материальной независимости», всю его *запределкинскость*.

Обед.

На обед был греческий салат, красный борщ в огромной белоснежной тарелке — три ложки борща с наваристым мясным бульоном и пиалочка со сметаной. На второе — отварная рыба под каким-то зеленоватом-болотным, но вкусным соусом и запеченный картофель, который я переел в своем украинском детстве и теперь ем через силу, ем, всем видом демонстрируя, через какую силу мне это дается.

Вечерняя встреча с модным театральным критиком Алексеем Киселевым. Все расселись в кружок, чтобы деконструировать лекционный фрейм, организуя равенство тел и голосов и взаимное пересечение взглядов в пространстве. Алексей сразу задал демократичный тон, спросив, кто о чем хочет побеседовать: об актерском мастерстве, о современном театре или о театре будущего? В итоге получился захватывающий монолог с неожиданными поворотами и экскурсами, примерами и шутками. Я сидел нога на ногу без носок, Настя сфотографировала мои ноги, это было похоже на образ Остапа Бендера в штиблетах на голую ногу. Оставалось учудить что-то остапобендеровское, но я не сторонник провокативных прерываний чужих лекций. Я демонстративно читал в смартфоне статьи Кэти Чухров, чтобы задать критику Киселеву каверзный вопрос, хотя на самом деле таков мой сенсомоторный режим слушания любой лекции: аудиальный канал восприятия затребует от меня по чему-то водить глазами или что-то делать руками. В конце лекции я все-таки «сумничал» про то, что различать перформансы и театр сегодня очень просто: так как и перформансы, и театральные постановки во многом утратили субстанциональность, то различение проходит по принципу, какая институция что заказывает. Если музей, то перформанс. Если театр, то спектакль. Потом все побежали на ужин.

На ужин была почти холодная греча и сочная, но тоже уже холодная мясная котлета. Три раза в день мясное мой живот с непривычки переваривать отказывался. Но, поупрямившись, все-таки справился. Еще бы, куда ему было деваться. Жуя мясное, я вспомнил, что в нашем номере лежит пакет, в котором гниют наши огурцы и помидоры, привезенные зачем-то из дому, так как там они за три недели точно бы сгнили. Потом принесли большой холодный круассан и чай в чайнике. Мы так толком и не социализировались с Настей среди других резидентов, из-за чего я невротически ерзал, а от нашего столика резиденты подходили и забирали стулья, пересаживаясь за другой столик, где все ели и ворковали.

Вечером, гуляя по поселку, слушал лекцию Ильи Кукулина, рассказывавшего о том, как Александр Фадеев застрелился в одной из номенклатурных дач в 1956 году после разоблачения культа личности. Впрочем, немалая доля дачников умерла здесь не своей смертью. Хотя что считать своей? Поражает и то, что на место репрессированных, застрелившихся или повесившихся ничтоже сумняшеся заселялись другие писатели и их семьи. Раньше бы меня это морально обездвигило, а теперь просто передернуло. Большинство человеческих построек возведено на костях — бывших кладбищах, вырубленных лесах, осушенных болотах и просто органических останках вымерших животных и растений.

20 августа

Прочитал в дневниках острого на язык Арсения Тарковского: «Швейцария невероятно чистая, ухоженная страна, в которой хорошо тем, кто очень устал от суеты. Очень похожа на сумасшедший дом — тишина, вежливые сестры, улыбки...» Как это созвучно моим переделкинским ощущениям. Удивительно, но только полное безумие или смерть может хоть как-то снять этот эффект дереализации. Читаю «Инсайдер»: «Третьи сутки подряд в России фиксируют рекордную смертность от коронавируса. По данным оперативного штаба, за последние сутки умерли 819 человек — это новый максимум с начала пандемии. 12 августа было зафиксировано 808 смертей, 13 августа — 815». Ничего не чувствую. Спасает jovialный консьерж Артур, который предлагает нам яблоки из вазы. Переделкинские яблоки на вид неказисты, с наростами и шероховатостями, нет в них той глянцеvidной гладкости и восковой мумифицированности яблок из гипермаркета. Но переделкинские яблоки пахнут яблоками. Значит, жизнь все-таки не покинула эти места, запах проникает к самой древней коре мозга в обход неокортекса и кормит меня «мадленками Пруста» — спусковыми крючками, запускающими пучки детских воспоминаний. У каждого они свои: меня запах яблок всегда выносит в сельские украинские сады колхоза «Нове Життя», бескрайние сады с рядами ломящихся от яблок яблонь. В жаркий солнечный полдень так приятно отдыхать под сенью одной из них и жевать упавшее рядом яблочко, обтерев его собственной майкой. Прислониться к стволу дерева, закрыть глаза и... Главное тут — не довспоминаться до ужаса солнечного полудня обэриута Леонида Липавского, когда можно исчезнуть как тень, и мир этого не заметит.

На обед был витаминный салат, который принесли первым и, пока его не съешь, не приносили ничего, поэтому пришлось съесть салат, чтобы принесли первое — суп куриный с лапшой. На второе была грудка с рисом, и тут сразу подумалось, как хорошо было бы ее есть вприкуску с салатом, но салата уже не было. Вы скажете, что можно было бы оставить салат и попросить принести первое, а потом второе и есть второе вприкуску с салатом, но задним числом мы все умные. Посмотрим, что будет завтра.

После обеда выступал один из резидентов Денис Сивков — философ, переквалифицировавшийся в антрополога и приехавший в Переделкино писать книжку про космос. Денис рассказал про разные формы освоения космоса: есть глобальный нарратив и троп гонки за победу, например обложка журнала «Плейбой» со стыковкой «Союза» и «Аполлона» в образе сексуализированной гетеросексуальной пары, хотя «Союз — Аполлон» создавался как первый андрогинно-периферийный агрегат стыковки в противовес системам типа «штырь — конус» (на жаргонах также: «муж — жена», «папа — мама», «актив — пассив»). Существует также коммерческое освоение космоса, сегодня активно популяризируемое такими персонажами, как Илон Маск. А есть одомашнивание космоса, когда разные умельцы из говна и палок, порой купленных на «Авито» и собираемых дома, запускают в космос разные объекты либо выходят на связь с орбитальными спутниками. Они-то и интересуют Дениса больше всего.

21 августа

После завтрака работал над монографией про коллективный перформанс. Двигается медленно. Хотя мы с Настей приехали для доработки нашей книжки про коммунальную жизнь в одной из питерских коммуналок, но прокрастинация подстерегает в самых неожиданных местах. Стоял в трусах на лоджии с ноутбуком. Напугал соседку. Охнула, убежала и больше не показывалась. Но и я сам стыдливо ретировался, хотя совсем по другим причинам.

Сегодня самый жаркий день. После обеда ходил купаться на Мещерский пруд. Мещерский парк прекрасен — этакий евролес без русской хтони. Перепады высот с живописными видами на заболоченные запруды и луга, деревянные пешеходные мостики, детские и спортплощадки, газоны, дорожки, пляжный волейбол, прокаты, туалеты, воздух! Пляж полон народу всех возрастов. Обстановка курортная, +30 градусов, влажность 57 процентов. Первый — и, как выяснится позже, последний — раз за лето искупался. Обрато дошел до станции Мещерская и доехал на электричке до Переделкина. Две станции, электричка почти пустая, билет купил на платформе в билетном автомате, стоил 40 рублей. Пока шел по Мещёрскому поселку, не покидало ощущение дачной идиллии. Поселок весь благоухал цветочными ароматами и утопал в поспевающих яблоках. Август как-никак. Хотя слава яблочного места закреплена за другим поселком — Мичуринец, бывшим яблоневым садом Тимирязевской сельхозакадемии, примыкающим сегодня к Переделкину.

В пять часов приехал Петр Резвых — философ, знаток немецкого идеализма. Два с половиной часа работал философской речевой машиной про кантовское понятие гения, классическую эстетику, прекрасное и суждение вкуса. Казалось, все сидящие вокруг превратились в одно большое ухо, попавшее под обаяние речи Резвых. Девушки при этом еще иногда и охали. Хотя, конечно, тот факт, что я заметил, как девушки охали, я списываю на мой непреодолимый мэйл гэйз и гетеронормативную социализацию. Присутствующие особи мужского полу, может быть, тоже не прочь были бы и охнуть, но уже интериозировали в себя инстанцию по сдерживанию охов и подавлению эмоционального интеллекта. Во время лекции Резвых я как всегда параллельно читал со смартфона, на этот раз другую статью Резвых — про философию природы у Шеллинга. Перемена внимания с аудиального на зрительный канал и обратно помогает мне воспринимать любое знание. В идеале, конечно, еще бы подключить мелкую моторику и конспектировать, конспектировать, конспектировать... в прошлой жизни я был стенографисткой с длинными проворными пальцами.

На ужин принесли голубцы с подливой и мою любимую долгожданную (наконец-то!) творожную запеканку с пиалочкой со сметаной. После ужина гуляли с Настей, она рассказала, что одна из резиденток — настоящая матушка. Это матушка Варвара Чупракова, старообрядчица, приехавшая в Переделкино по гранту от Союза композиторов сочинять тут музыку.

22 августа

Диалог в кафе на обеде. Вечно взъерошенный, похожий на медведя драматург Юрий Клавдиев, услышав о том, что сегодня будет встреча с Евгенией Некрасовой — модной современной писательницей и вроде бы феминисткой — возмущается: как можно писать о такой чернухе, буллинг в школе, издевательства, травля, в нашей школе девочки ни разу не дрались, ну или я не видел. Ему вторит актриса из Петербурга Анна Некрасова: я рано созрела, и мальчики заинтересовались мной, а я им подыгрывала, и одноклассницы за моей спиной шептались и завидовали мне. Они все, конечно, были те еще стервы, но драться никто не думал. Литературовед Сергей Беляков написал в общем чате резидентов: «Она (Евгения Некрасова) великолепный писатель, из пятерки лучших сейчас в России. Хотя ее взгляды мне совсем не близки. Но ее проза выше всяких похвал!»

До встречи с Евгенией Некрасовой драматурги и актрисы в итоге не дошли. Евгения с самого начала была невыспавшаяся, все время опускала голову на руки, казалось сейчас уронит ее окончательно. Впрочем, это не мешало ей работать речевой машиной почти два часа. Евгения взяла ипотеку, ее нужно отрабатывать. Я не стал шутить, что ипотека и есть главный источник вдохновения — муза Евгении. Евгения много работает, так много, что, по ее словам, почти не спит уже несколько лет. Модное нынче слово «выгорание» — это не про Евгению. Но тут амбивалентность: если Евгения хочет стать большой писательницей и потеснить в каноне мертвых и еще живых белых мужчин в пыльных или стильных пиджаках, то не будет ли это выглядеть так, что еще одно уставшее писательское тело сядет на место мертвого мужского, но сама система не претерпит структурных изменений? То есть писатель-женщина будет все также пытаться вписаться в канон, войти в поп-культуру, стать ее частью, зарабатывать больше денег, обрести больше символического и медийного капитала и т.д. Но чтобы что? Задача построения более демократичных инклюзивных, менее патриархальных и иерархичных институций снова откладывается на неопределенный срок? Вспоминаются слова Брехта (снова мертвого белого мужчины) о том, что средства писательского производства в буржуазном обществе капитализированы, «но в то же время отчасти и революционны, поскольку основаны на методах производства хотя и капиталистических, но представляющих собой ступеньку к другим, более высоким методам производства»⁴. В принципе, бум литературных — в том числе феминистских — школ, открывшихся в России за последние несколько лет, вселяет надежду и на структурный перелом. Хотя и в большинстве подобных школ, пусть более инклюзивно, демократично и горизонтально, кроме литературного мастерства обучают неизбывным методам обретения связей и успеха внутри рыночной конкурентной среды литературного производства: маркетингу, менеджменту и самопродвижению. Посткапиталистическим желанием сегодня заражена разве что современная поэзия, но она и от рынка свободна, вернее, рынок от нее. Хотя есть еще быстрорастущий сегмент *theory fiction*.

Евгения рассказала про «Калечину-Малечину» (роман про девочку десяти лет и школьный буллинг), про «Счастливую Москву», про новые сборники рас-

4 Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. М.: Искусство, 1965. Т. 5/2. / Комментар. Е.Г. Эткинда. С. 29.

сказов и новый роман-сериал «Кожа», в котором афроамериканская рабыня и крепостная крестьянка обмениваются кожей. Евгения творит в магическом реализме, где магия призывается на помощь, когда все плохо и ждать помощи уже не откуда. Потом Евгения рассказала про свою родину, Капустный Яр — Екатеринбург. Пишет Евгения везде, где бывает на резиденциях: Иваново, Коломна, где написала поэму про московский мусор. Но не берет ли она некритично все эти реалии из резиденций в качестве ресурса, и есть ли тут этика говорения за других? Осмысляет ли Евгения свое писательское тело? Эти вопросы застыли у меня во рту, так и не осмелившись выпорхнуть, ибо такого изможденного своей профессией человека я давно не видел.

23 августа

На ужине случился тихий казус — мы с Настей снова поймали себя на желании, но невозможности социализации. Матушка Варвара попросила о встрече с руководителем общественной организации «Городок писателей Переделкино» писателем Мариной Кудимовой. Встреча выпала на время ужина, поэтому в чате решено было всем встретиться в кафе за большим столом и пообщаться с Мариной Владимировной. Но мы с Настей опоздали, так как ходили смотреть Переделкинское кладбище и, придя, не нашли свободных мест за большим столом, за которым и происходило это самое общение. Настя предложила забить и по привычке автономизироваться за столиком у окна, но я уговорил ее сесть за не очень удобный круглый столик рядом, чтобы хотя бы краем уха слушать, о чем же будет рассказывать писательница и культуртрегер. На нас снова никто из резидентов не обратил никакого внимания — будто на гетеросексуальную пару смотрят сквозь нее как на капсулу — вещь в себе. Столик шатался и было очень неудобно, к тому же было шумно, и мое единственное слышащее ухо еле улавливало обрывки разговора. Марина Владимировна вещала что-то про Сталина, травила разные писательские байки, связанные с Переделкином и потом выразила мнение, что Цветаева не особо страдала, так как имела кучу свободного времени, чтобы только писать. Она не работала по дому, то есть не занималась трудом по воспроизводству: стирка, глажка, уборка, готовка, — это все было не для нее. Так что и жалеть Цветаеву в этом смысле не надо. Я, правда, недопонял, в каком смысле не надо жалеть Цветаеву, но догадывался, что Марина Владимировна, скорее всего, имеет в виду тот ареол жалости, сложившийся вокруг судьбы Цветаевой, не позволяющий трезво прочесть ее стихи как стихи. Ах, если б мы могли отделить судьбу поэта от стихов, экзистенцию от означающих. Впрочем, структуралистам это почти удалось. Но потом пришли постструктуралисты и снова все запутали. Пока я пытался что-то расслышать, Настя не слышала ничего. Она сказала, что ей не очень комфортно, так как она сидит ровно за спиной Марины Владимировны и все на нее смотрят. Я перестал вслушиваться. Мы просто съели тефтели с макаронами типа рожки и два блина со сгущенкой. На ужин такое доминирование углеводов я не смог осилить, а Настя свою порцию все же доела. В итоге, быстро поев, мы ушли и потом не разговаривали весь вечер, так как Настя была недовольна мной.

24 августа

Ваня Соколов представлял свой перевод «Нежных пуговок» Гертруды Стайн, над которым работал урывками несколько лет. В этой своей книжке 1914 года Стайн, по сути, перевела живописный кубизм в литературу, в одиночку проделав работу, которую параллельно вели итальянские футуристы и русские будетляне. По сути, «Нежные пуговики» — это синтаксическая заумь, написанная, как бы сейчас сказали, сломанной нейросетью. Для начала XX века абсолютно революционная вещь, вдобавок заземляющая модернистский универсализм на феминистскую почву повседневных вещей и быта. До этого меня больше интересовало перформативное измерение авангардных открытий Стайн, большинство, наверное, знает ее строчку «Rose is a rose is a rose is a rose», которую в оптике перформативности можно рассматривать не только как самообращенность языка на себя и рекурсию, но и буквально телесный опыт, недискурсивный опыт порождения звуков, еще не ставших речью, наслаждение «произносительной стороной речи» (В. Шкловский).

После лекции Вани нашли с Настей ошибку в местной карте писательского поселка. Вместо «Перedelкино» на ней было написано «Пеорedelкино». Мы начали шутить, придумывая «Порedelкино», «Перепелкино», «Беспределкино» и т.д. Вот что значит стайновский сдвиг!

Моя хворь и одновременно пилюля от классового расизма такова: я, даже когда зная, что еда никуда не убежит, не могу медленно и буржуазно (тут это «буржуазно» без негативных коннотаций) сидеть и наслаждаться приемом пищи. Тяжкое наследие позднеперестроечного детства? Голодные студенческие годы? Выдуманная левым поэтом пролетарская аскеза, в которую вжился, но забыл разотождествиться? Так или иначе, прием пищи для меня — это всегда предельно функциональное мероприятие. Я проглатываю еду, не то чтобы не замечая ее вкуса, нет, я люблю вкусное и еще больше полезное. Но не умею это растягивать и распробовать. Будто бы я эссенциализировал пролетарский вкус к еде как вкус к необходимому. Но, как писал Бурдые, вменение такого вкуса есть признак классового расизма, тогда как вкус к необходимому — грубой еде, грубым вещам, речам, грубому здравомыслию, грязной работе — это вынужденный вкус, а не выбор выпавших в зону лишения по своему желанию левых поэтов-нарциссов. Творческий прекарий отличается от того же пролетариата тем, что пролетарий был именем выпавшего в зону лишения по року судьбы и факту рождения, тогда как прекарность, как и проклятость того же романтического художника, была весьма саморефлексивной, чаще являясь осознанным этическим проектом (или бессознательным, что почти тоже самое). Это был определенный способ быть, модус присутствия, который не просто являлся фактом биографии того или иного творца, но конституировал сам его творческий акт, жест, высказывание.

25 августа

Господи, неужели я здесь, чтобы подключиться к мертвым белым мужчинам, трястись над их прахом и пропитываться культурным перегноем, что потом самому изойти на перегной и удобрить почву для неблагодарных (а какие они

еще могут быть) потомков? Все эти дачи, ставшие домами-музеями, домами-призраками, домами-мифами, похожи на выпотрошенные мумии животных в зоологическом музее. Таксидермисты от литературоведения в меру своей искусности выпотрожили из них все живое, все органы и клетки, иначе они будут разлагаться и вонять и, чего доброго, в них заведутся трупные мухи и прочая — в чем-то полезная — живность. И вот эти полые мумии стоят и смотрят на вас немигающими стеклянными искусственными глазами. Эти хищники, не могущие вас съесть, эти млекопитающие, не убегающие от вас при первом шорохе. Все шито в гладкий нарратив повествования: родился, жил, творил, страдал и умер. Был увековечен. Мой поток сознания прерывает полученная от Насти ссылка на интервью с Ириной Ерисановой — директором пастернаковского дома-музея в Переделкине: «Что бы сказал Борис Пастернак, если бы сегодня заглянул вдруг в Дом-музей Пастернака? Вообще представьте себе: вот сидим мы тут, разговариваем, как вдруг открывается дверь и входит Пастернак. Он спрашивает: а вы чего здесь делаете? — Ну, у нас тут музей. — Музей? Какой еще музей?»⁵

При входе в корпус писательской гостиницы замечаю рабочего, на корточках склонившегося над маленьким котенком и фотографирующим того на свой смартфон и так и сяк. И улыбаешься в сердце своем. Рабочий — будучи наиболее погружен в переделкинскую материальность — он тут пилит, сверлит, строгаёт, починяя литературную беседку (см. мой стих про это), но при этом наиболее удален от литературного мифа Переделкина, от всей этой идеалистической метафизики писателей, поэтов и философов, которая оформилась на некоем претендующем на универсальность, но отчужденном от рабочего языке. Социальное и физическое пространство вокруг колонизировано этой современной эстетикой, а рабочий буквально на коленках будто бы деколонизирует сейчас его посредством собственного эстетизиса, возвращая себе способность к чувственному восприятию внутри трудовой рутины. Он заслужил эти несколько минут наслаждения, а котенок, будто бы подыгрывая ему, вертится на спинке посреди свежестриженного этим же рабочим газона, поломанные травяные клетки которого выделяют альдегиды и сложные эфиры, вызывающие у человека чувство благополучия и расслабленности.

Вечером читали с Анастасией доклад «Драматургия коммуналки: письмо как опыт совместного проживания». Обсуждали, как мы стали писать про нашу жизнь в коммуналке посредством подслушиваний за диалогами соседей и собственных автоэтнографических интроспекций. Рассказали, как мы начали вести блог, чтобы посредством письма избавляться от травматического опыта совместного проживания с людьми, которых мы не выбирали себе в соседи (как, впрочем, и они нас). Порой обсессивное протоколирование повседневной рутины быта позволило в какой-то момент отстраниться от него и начать писать из позиции включенного наблюдателя.

5 *Мартов И.* Тень Пастернака, ляпы Булгакова и более полутысячи аудиокниг. Интервью с Ириной Ерисановой // Горький. 2021. 13 августа (https://gorky.media/context/ten-pasternaka-lyapy-bulgakova-i-bolee-polutysyachi-audioknig/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=stoit-li-zhenschine-chitat-nitsshe-vsluh-gde&utm_content=53614634).

26 августа

Господи, почему я не высказываюсь на хайповые темы? Ведь мне всегда есть, что сказать! Что? Ах да, языку предоставляют слишком много власти. Слова переоценены. Вот и сегодня не произошло ничего такого, что можно было бы передать словами. В Переделкине шел дождь. (Сначала я написал «в Переделкино», но потом вспомнил, что филологи на «Радио Арзамас» в курсе лекций «Золотая клетка» склоняют Переделкино в зависимости от падежей употребления. Хотя дождю было, в общем-то, все равно, шел он в Переделкино или в Переделкине.) Дождь просто шел. Мы стояли на балконе старого Дома писателей и дышали озоном. Ваня Соколов сидел в кресле-качалке. Игорь Гулин стоял рядом с Ваней. Настя Вепрева стояла справа от Игоря Гулина. Слева от Вани Соколова, который сидел в кресле качалке, стояли еще несколько человек: переводчики, драматурги, режиссер. Я сделал фотографию на память и отправил ее в общий чат. Потом я подошел к краю балкона и сделал глубокий вдох, будто бы желая объять легкими весь-весь воздух, которым когда-то давно дышали здесь Горький и Пастернак, Чуковский и Пильняк, Бабель Исаак, Каверин и Катаев, Ильф и Петров, Евтушенко, Окуджава и Ахмадулина Белла, а сейчас внизу им дышат рабочие, починяющие литературную беседку в стиле сталинский бельведер. Рабочим не было дела до великой русской литературы. Это были живые смуглые мужчины, слушающие среднеазиатский поп вперемишку с группой «Сектор газа». Они были настолько естественны в здешнем ландшафте, что я в какой-то момент подумал, что они изначально созданы, чтобы починять литературную беседку. Ведь это так успокоительно думать, что кто-то для чего-то создан изначально. Вот ты, например, изначально создан, чтобы стоять на балконе и дышать тем же воздухом, которым дышали тут когда-то великие мертвые белые мужчины. Хотя женщины, дети, животные и растения тоже им дышали, а растения так и вообще этот воздух выделяли, но в данный момент я предпочел бы этого не замечать. Господи, почему я не высказываюсь на хайповые темы? Ведь мне всегда есть, что сказать! Что? Ах да, языку предоставляют слишком много власти. Смуглые тела, сверла, гвозди, молотки, пилы, стружка, запах пота и свежей древесины, не из этого ли сделана наша литературная беседка в стиле сталинский бельведер? Я возвращаюсь в свою комнату и понимаю, что сейчас напишу очередную проходную вещь, через которую можно пройти и ничего не почувствовать.

27 августа

В гостинице воеет сирена — это тренировочная пожарная тревога. Взъерошенный драматург Юрий Клавдиев нехотя вываливается из номера и говорит: пойдите посмотрите, что там горит или не горит, я пишу пьесу и мне некогда спасать жизнь!

Пьесу (а вернее, ее эскиз), которую пишет Клавдиев, покажут в последний день резиденции. Она будет про туберкулез. Ранее одна из членов команды по подготовке пьесы художница и активистка Полина Синяткина рассказывала резидентам про свою историю борьбы с туберкулезом и про создание ей арт-активистского проекта, посвященного дестигматизации этой болезни. Полина

большая молодец, посредством искусства она дает этой теме публичность, ведь многие до сих пор считают туберкулез болезнью деклассированных людей, хотя это далеко не так. А еще в соавторстве с врачами-фтизиатрами и психологами Полина создала брошюру, где на человеческом языке рассказано и показано, что делать и как быть, если вы или ваши близкие люди заболели туберкулезом. Брошюра была переведена на тринадцать языков, и Полина выступала по этой проблеме даже в ООН.

28 августа

Утром состоялась экскурсия с Борисом Куприяновым — известным московским издателем и основателем книжного магазина «Фаланстер», а в Переделкине советником Дома творчества. Собирается тьма народу: резиденты, исследователи, переводчики и приглашенные извне гости. Борис сразу просит снисхождения, так как он не литературовед и не историк. Его первый вопрос: как сегодня говорить о Переделкине? Как о писательском концлагере, гетто, или как об интеллектуальном инкубаторе и рассаднике вольнодумия? У Бориса большая харизма, но тихий низкий голос, так что мне, чтобы что-то расслышать своим единственным рабочим ухом, приходится толкаться и оббегать других людей. С трудом вырывая осколки переделкинского мифа, понимаю всю загрязненность нашей звуковой среды: каждые три минуты взлетают и садятся самолеты соседнего Внуково, по улице Тренева и Погодина проносятся машины. Тихо только в глубине участка Чуковских, где практически в тайге расположена площадка, построенная для знаменитых чуковских костров, собиравших в советское время тысячи человек. Но, с другой стороны, Переделкино по сути и есть этот миф, изобретаемый новыми поколениями писателей-дачников для собственных оснований письма. Так и происходит онтологизация любой реальности. Вот дом в парке Дома писателей, который похож на задник картины «Американская готика». В нем жили Ильенков и даже Бахтин, когда переехал из Сызрани. Вот в этом доме снимались сцены «Зеркала» Андрея Тарковского. А из этого дома Пильняка увезли на расстрел. Вот дачи Веры Ибнер, Всеволода Иванова и его сына — Вячеслава Всеволодовича. Из первых дачников почти половину репрессировали и расстреляли. Сквозным именем постоянно звучит имя Пастернака. Пастернак и как дух места, и как тот, кто выпил весь переделкинский пейзаж. А с другой стороны, Пастернак — опальный *enfant terrible* и любимец народа за то, что сам вскапывал грядки и сажал картошку, тогда как до 70-х годов у крупных писателей в Переделкине на службе состоял целый штат садовников, лесников и вообще они даже сами лампочки не вкручивали. Вот старый Дом писателей. В подвале этого дома, по легенде, был бар, а может просто подпольная торговля алкоголем, ибо другие изменители сознания в ту пору советским писателям были практически недоступны, разве что грибы в окрестных лесах. В 90-е в клубе при Доме писателей открывались и закрывались рестораны. Последний из них — ресторан «Солнце» — по слухам был местом встреч и переговоров солнцевской братвы. А вообще, обитатели дома отдыха и писатели, наделенные дачами почти не пересекались друг с другом и друг друга недолюбливали (классовая сегрегация?). Первые завидовали вторым, а вторые смотрели свысока. Общались только у единственного телефона, стоявшего в фойе Дома писателей. У Пас-

тернака было свое время, с 17:15 до 17:45, когда никто не занимал телефон. Вот библиотека, которую Корней Чуковский возводил на свои средства, отрезав под нее место от своего двухгектарного участка. Зачем вообще писателям давали такие гигантские участки, фактически тайгу и болото? Чтобы те обхаживали их по-барски и ощущали некую творческую автаркию внутри общей несвободы?

Вот сквер, где раньше были знаменитые так называемые пастернаковские луга, а сейчас на месте лугов за трехметровым глухим забором вырос новый элитный поселок «Стольный». Кусочек от этих лугов под сквер выкупил Чубайс и подарил обществу. Пастернак — любимый писатель Авдотьи Смирновой. Авдотья Смирнова сама писательница и режиссер, а еще любимая жена Чубайса. Но народ все равно не любит Чубайса, неужели даже имя Пастернака не может обелить Чубайса в народных глазах? Борис Куприянов предлагает поверить ему на слово, так как из-за забора не видно, что дома в элитном поселке «Стольный» представляют собой чудовищную архитектурную кашу — от выкрашенного в желтый сталинского ампира до викторианских и палладианских вилл и хайтека. В одной из таких вилл живет небезызвестный патриот родины на зарплате и хейтер всех оппозиционеров Владимир Рудольфович Соловьев, который по горькой усмешке судьбы лишен сегодня поездов в свою виллу на озере Комо в Италии и вынужден соседствовать с ужасными московскими богатеями среди безвкусных построек. Куприянов говорит, что этот «Стольный» наряду с Переделкином уже сам, в свою очередь, заслуживает антропологического исследования. Антрополог Денис Сивков откликается, что готов заняться им за деньги резиденции. Куприянов парирует, что идея хорошая, но у него денег нет.

Вот и сама дача Пастернака, она соседствует с дачей Фадеева, печально известного председателя Союза писателей, пьяницы и развратника, распорядившегося писательскими судьбами (и дачами), застрелившегося после разоблачения культа личности. По словам Куприянова, двумя главными движущими принципами писательских дачников были разврат и зависть. Мне на ум приходят строки: «Что вами движет? Зависть и разврат!» Хорошее название для романа о Переделкине, да и отличные принципы, считаю я, вспоминая нашу недавнюю дискуссию с Ваней Соколовым и Леной Костылевой о Горьком и его позиции против создания отдельного поселка писателей, так как тот превратится в рассадник пороков и отсеет литераторов в сторону от жизни.

Вообще же надо сказать, что собирание мифа о Переделкине из осколков весьма захватывает, так как, втягиваясь в эту игру, ты сам начинаешь домысливать, довоображать выпавшие из зоны слуха фрагменты, дополненные самой обрывочностью мифа. Получается такое фасеточное зрение — пучок фасеток, осколочков, которые должны соединиться в мозге воспринимающего в какой-то общий образ ПЕРЕДЕЛКИНО, но как таковой этот образ не субстанционален — он пустотен, ибо конституирующий нарратив о Переделкине обречен кружить вокруг него, не в силах его поименовать. Поименовать — это раз и навсегда поместить означающие в свои семантические гнезда, как власть помещает пишущее тело внутрь выданной дачи, чтобы то служило ей верной надстройкой до своей биологической смерти. Но полный контроль за производством смыслов — задача, непосильная даже для Главлита.

Заходя в тот или иной дом-музей, где в качестве мертвого артефакта выставлены некогда живой быт и утварь, мы должны обрести с великим хозяи-

ном-покойником связь через пережившие его вещей, совершить флэшбек во времени, чтобы погрузиться в называемый творческий этос владельца дачи. И тут нужно прислушаться к себе и обрести баланс. Ибо вскоре миф захватит вас настолько, что вы в онемении сможете лишь тихо внимать величию предков и сокрушаться в сердце своем, что вы лишь неблагодарный потомок, к тому же бездарный и не способный на малую толику того титанизма, который был в первом поколении сталинских дачников-литераторов, витализма и жизне-радостности второго — оттепельного — поколения и даже элегичности и скептического реализма третьего — застойного — поколения. Поэтому в какой-то момент, устав вслушиваться в обрывки доносящейся речи Бориса Куприянова, я погружаюсь в свои собственные размышления. Самолеты все так же проносятся над головой, но этот шум уже позволяет мне сделать окружающее пространство из проводника посредником, который сам берет агентность в свои руки и ведет меня совершенно другими маршрутами. И вот уже я отсоединяюсь от группы и бегу сквозь тайгу в свою келью, чтобы записать пойманный аффект. По пути встречаю четырех запуганных девочек, похожих на отличниц. Одна из них, поправляя очки, прочувствованным голосом рассказывает: «И вот когда одного из них репрессировали, то потом репрессировали всю семью...» Я останавливаюсь и замечаю в сердце своем, как все-таки историческая травма, страдание и репрессии способны породить вживание и эмпатию куда больше, чем истории успеха и славы.

29 августа

Последний день в резиденции. Все резиденты делились впечатлениями от резиденции, рассказывали про то, что успели сделать во время резиденции и читали отрывки своих работ. Пришел Юрий Сапрыкин с детьми. Высидел три презентации и неловко откланялся, пообещав вернуться на показ пьесы, но не вернулся. Вечером был показ эскиза документальной пьесы об опыте переживания и лечения туберкулеза, над которой все три недели резиденции работал большой коллектив: режиссер Елена Смородинова, драматург Юрий Клавдиев, сценограф Василина Харламова, композитор Кирилл Широков и главные героини — художница Полина Синяткина и актриса из Петербурга Анна Некрасова. Полина и Анна переболели туберкулезом и написали о своем лечении от первого лица документальные (пост)исповедальные автобиографические нарративы, основанные на собственных историях и интервью, взятых у других носителей опыта этой болезни. Эскиз был сделан концептуально четко и сдержанно. Это была не ставшая сегодня мейнстримом читка документального материала, а полноценная театральная вещь, где дискурсивные эпизоды на равных взаимодействовали с музыкальной частью (звук метронома, атональный минимализм) и сценографией (трубки и капельницы, подсветка).

Потом был праздничный ужин с тортиками. Потом была изжога. Пытаясь избавиться от нее, я придумал название для своих заметок о своем пребывании в Переделкине: ПЕРЕДЕЛ К ИНОМУ. Нам всем так иногда хочется открыться иному, впустить в себя иное, но это иное чревато изжогой и несварением, ибо, вторгаясь в одомашненный, знакомый мир вашего желудка, может вызвать непредсказуемую реакцию всего организма.

30 августа

Перед отъездом всех резидентов фотографировали в клубе и его экстерьерах. Профессиональная фотографка (фотографиня?) снимала нас с Настей на замечательной спиралевидной лесенке. Потом было коллективное фото на память в библиотеке. Борис Куприянов выпыгивал у всех, что им понравилось, а что требует улучшения. Я рассказал вкратце про свои травмы и тревоги классового разделения, про ощущения себя античным академиком, прогуливающимся в эпикурейском саду, где немые рабочие, согнувшись в три погибели, рыли ямы. Куприянову, по всему его виду, такое сравнение не понравилось. Я живо представил, что он подумал: «Ну, вот он, левый нарциссизм въяве — рабочие ему наши не угодили, так бери лопату и помоги копать, если ты такой совестливый. Или тебе просто хочется наслаждаться собственным моральным превосходством?» Еще я поведал о противоречивости ситуации, в которую угодила не я один: в описании резиденции всем советовали работать индивидуально, а по факту — тебя настигала постоянная публичность, от которой сложно было отказаться не только ввиду ее включенности в расписание, но и какого-то необъяснимого синдрома упущенных возможностей. Хотя, может быть, это проблема не резиденции, а нашей собственной прокрастинации? Ну и напоследок наконец-то разрешился волновавших многих вопрос о висящем под потолком каждого номера большом крюке. Оказалось, этот крюк — часть проекта Даши Жуковой, придумавшей интерьерные решения писательской гостиницы. На этот крюк в скором будущем закрепят книжный шкаф, который будет отделять спальню от кабинета, поэтому вешаться на него не нужно.

Конец.